

МИХАИЛ ЕСЬКОВ



НАРЕЧЁННАЯ

РАССКАЗ

1

Не грела кровь. Не узнавал себя в зеркале.

— Побыл у врачей... Пап, ты... В общем, ты мужественный...

Зятю нелегко, взгляд мимо, хотя вроде и на тебя:

— Готовы анализы... Сказали: “Однозначно рак... Не особо злой...”

Открывшийся ужас обрушил в бездонную пустоту — всё померкло. Всё стало лишним. Зять поспешил уйти. Освободил и себя, и Михаила Николаевича от обременительного общения. Понять его нетрудно: ты уже вроде как отсутствуешь. Даже о погоде пустяшный разговор будет неизбежно тягостным, без надобности: “до свиданья” уже произнесено. Жена, дети, внуки, друзья, сотни знакомых хороших людей — теперь никто не поможет. Один на голой земле.

Чувствуя себя ненужным, увяз, затаился в скукоженной безысходности. “Скоро будет — нас не будет...” — слова из услышанной когда-то незатейливой песни не случайно осели в душе — теперь вот выстрелили в цель. “Скоро будет... Скоро будет...”... За что — ему?.. За что?.. Злым вроде не был, с кем доводилось встречаться — всех за людей считал, многих чтил выше себя. Тогда почему — он? Почему?.. Ещё не устал жить, а уже уходить...

ЕСЬКОВ Михаил Николаевич родился в 1935 г. на хуторе Луг в Пристенском районе Курской области. После окончания Курского медицинского института работал в сельской больнице. Затем поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и многие годы преподавал в медицинском институте. Автор книг “Дорога к дому”, “Серебряный день”, “Старая яблоня с осколком”, “Чёрная рубаха”, “Сеанс гипноза” и других. Лауреат губернаторской премии им. Е. И. Носова. Член Союза писателей России. Живёт в Курске.

Ничего не хотелось... забиться бы в угол, никого и ничего не видеть. Безучастно думалось: скорее бы... Сам с собою продолжал бы леденеть. Но жена стала приносить приветы. Чуть не каждый день и по несколько человек звонили ей на работу, слали ему сочувствие и самые несбыточные пожелания. Выходит, далёкая беда не так уж безразлична, не посторонний глухой наклад: пришлых на земле нет — все свои. Вот и он безликим не оказался: столько народа сердцем откликнулось, столько неожиданного тепла обозначилось, хоть начинай жить сначала.

А главное, постороннее участие сдвинуло его с обречённого места. Появилось желание вызволить себя из печального тупика, вызволить пусть на время, а там — видно будет. И потянулись сумеречные больничные дни в томительном, опасливом ожидании предстоящих операций. Болезнь-то лохматая, без особой надежды, даже когда оказываешься в Онкоцентре на Каширке. Это чувствуешь уже по тому, что здесь все на тебя похоже, все глубоко подавлены, потерянно одинаковы: не смеются, в голос не разговаривают. Словно в запредельном отдалённом мире, всё здесь приглушено, без ярких красок, в безотрадном разладе отстранено от бегучей жизни, предуготовано. Понятно, в такой ситуации не развеселишься... Перед поездкой сюда повидался с родственниками, как попрощался. Если взрослые ещё давили вздохи, изображая беззаботное, обыденное, то внучка что думала, то и сказала: “Дедушка, как же я без тебя?”...

В книжках, прочитав которые советовали знакомые, говорится, что причиной рака является, прежде всего, снедающее уныние. Известно ведь, что грехи наши Бог может простить, а нервная система — никогда. Собственный приговор гнетущей ненужности запечатлён в древнем латинском изречении: “Лучше умереть тому, кому не хочется жить”. Горестно, но пришлось согласиться с этим: что было, то было. Случалось подходить к последней черте... Там же, в книжках, настойчиво предлагалось вспомнить и выпросить прощение у тех, кому когда-либо причинил зло, оставил даже ненамеренную будничную обиду или иное нестроение.

Поначалу думалось: ну, какое зло мог сотворить? Начальником не был, на чужое не зарился, а уж как трудился, воистину — в поте лица хлеб насущный добывал. За что и перед кем каяться?.. Оказывается, человек изнутри не так чист, как выглядит снаружи. И есть отчего: на ноге пять пальцев, и четыре из них только и ждут, как бы не туда тебя увести. Уже сколько времени память отправлялась в бездонное былое, там он то и дело натывался на мусор от вроде бы навсегда забытых неприглядных поступков. Бессонными ночами вершил запоздалый суд. Многих, перед кем винился, в живых не было, а всё одно стыдно было по живому. Воспоминания неожиданно начали отвлекать от жалостливых едучих мыслей, выдували безотрадный разлад, словно проветривали затхлое помещение.

А давние события вели себя по-разному. Казалось, одни только и ждали, чтобы примириться, оставить просветление в душе и кротко отдалиться. К другим же возвращаться приходилось не раз. Вот и Кумаманька вроде бы не по делу накрепко застряла, не уходила из памяти, хотя Михаил Николаевич не мог сообразить, в чём поступал неправильно. Никаких посулов с его стороны не давалось. В невесты не звал.

Ничего ведь не было, помаячила лишь надуманная женитьба. Учился тогда в шестом классе. Мать слегла, долго хворала. С утра он растапливал печку, готовил еду, доил корову, задавал корм скотине, затем уже шёл в школу за пять километров. После уроков — бесконечная маята по хозяйству до поздней ночи. И так изо дня в день. Вот мать и решилась:

— Жано тебя.

Понять её нетрудно: изболелась душой, глядя, как он разрывается между школой и домашними немужскими хлопотами. Михаил Николаевич, в ту пору Мишка, этим словам лишь улыбнулся, как улыбаешься мимолётной шутке, которую тут же и забываешь.

— Кумаманька — девка работяшная. Что старше, так это даже хорошо: жана будет справная, — обозначая наречённую невесту, мать и тут не отступила от обычного правила, предложила бабу на вырост, как носкую одежду для подростка.

После немецкой оккупации кинулись оживлять задичавшие огороды. Два года земля пробывала под войной, отбилась от рук: покрылась колочками, забурьянела — переиначилась неузнаваемо. Лошадей не было, коровами тоже не обзавелись, выручала лопата, в ходу оказывался и единственный на весь хутор плужок для “бабьей тяги”.

Помочь взрослым сёстрам согласилась тогда ещё не прозванная Куманькой безотказная Пчёлкина Манька. Манька была моложе сестёр, а телом успела их перегнать. Она впряглась коренной в борозду для основной тяги. Восьмилетний Мишка встал за плуг. Кто пахал, тот знает: в неумелых и слабых руках что только не вытворяет этот самовольный проказник. То забавляется потешными ковылюгами, то чуть ли не стоймя вонзается в клятую глущь, а то и вовсе дурашливо выныривает наружу, скользким лемехом оставляя вдавленный блестящий след.

Чтобы не портить борозду, долго приходилось принаравливаться к вертявым ручкам плуга, что есть силы удерживая их от неуёмного кольхания. А тут ещё Манька подхлестывала:

— Мишка, взял бы кнут, да кнутом — нас... Ну, так погоняй матюками... Матюкнись, отведи душу, ты ж мужик...

На последние метры духу не хватило. В руках не осталось никакой силы. Некстати запутался ногами... Манька сняла шлею, вышагнула из постромка, кинулась его поднимать:

— Говорила тебе: матюкайся... Так бы не уморился...

А он лежал бы и лежал. На солнце сыто лоснились пласты свежей пахоты. Из земли, как из живого пореза, сверкая, проступал сок. Казалось, вокруг ничего больше не существовало. Было тихо, радостно, словно во сне... И не так горестно отозвались слова матери:

— Кости, как у курёнка, — а уже за плуг. Что ж это дееся, Господи...

...Как-то само собою повелось — без Маньки редко обходились. Когда требовалась посторонняя сила, она выручала многих. Ну, а чтобы на всякий случай быть поближе, породственной, с Манькой часто кумились. И за глаза, и в глаза звалась она Кумаманькой. Вот на ней-то и предстояло жениться. Перед этим недели две не ходил на опостылевшие занятия, подумывал остаться дома насовсем. Возможно, это и подтолкнуло мать окончательно определить его в жизни.

— Школу не брошу, — заявил Мишка и с радостью вернулся в свой шестой класс.

Поначалу побаивался: вдруг на хуторе начнут судачить. Могут по делу и без дела приклеить даже то, чего не было. К счастью, материно намерение не выпросталось наружу, не попало на бабьи языки. Скорее всего, тётка Фрося и сама Кумаманька тоже были в неведении. Встречаясь с ними, он не заметил каких-либо изменений всегдашнего поведения. А со временем успокоился, обошлось: никому ничего не известно.

...С мужиками и такими же, как и он, подростками в летние каникулы после девятого класса Мишка ходил на колхозные наряды. Трудиться приходилось не только днём, но и ночью: горячей сельской порой, будь двойные часы — и их бы не хватило. В тот раз на нескольких арбах перевозили ржаные снопы к молотилке на ток. Им с Кумаманькой достался самый дальний угол поля. Работа несложная: Кумаманька из крестцов подавала снопы, он укладывал их в рядки, навивал воз, отъезжал, разгружался и возвращался для следующей ходки.

К полуночи луна основательно обжилась и бодро взобралась на самую макушку. Света было как раз столько, сколько нужно, чтобы различать, что вблизи, глядеть же вдаль нужды не было. Погромыхивая ярмом, размеренно сопели волы, валко вихлялась и монотонно скрипела арба, убакюкивающие покачивались грядущки. Намажно и незаметно всё окрест начало убывать...

Наверное, от тишины и чуткого покоя Мишка испуганно вздрогнул:

ишь ты, сладко придремнул. А волю стояли в нужном месте, добрели сами без его цобцобеканья. Им, бедолагам, достаётся: сутками дышло да тянучая арба. Вечером и на утренней заре, не снимая ярма, на час-другой пускают покормиться в ближайшую лощину — и вся жизнь. Они даже приспособились натруженно засыпать стоя, как лошади.

Кумаманька тоже придремнула. Пробыть день-деньской с тяпкой на бураках: немудрено смориться. Сон и свалил её без оглядки. А у него перед глазами совсем не сонная Кумаманька.

Мишка знал, что по наряду ему с Кумаманькой предстоит работать ночью, решил за ней зайти, чтобы в поле отправиться вместе. В хате у Пчёлкиных никого не оказалось, в сарае была открыта дверь, направился туда. И будто споткнулся... Раздетая Кумаманька стояла в корыте, а тётка Фрося из деревянного ковша поливала её водой.

— Ма-а, погоди, не расходуёшь зря. Дай мочалой растереться, а то воды не хватит.

Руки Кумаманьки скользили по телу, как нарочно, указывая места, куда непременно нужно поглядеть. И на самом деле интересно было впервые рассмотреть, где и что расположено. Зрелище ошеломительное.

Замирая от неясного будоражающего чувства, Мишка долго заворуженно стоял перед Кумаманькой. На сложенных по стерне снопах в углу крестца она вольно разметалась, будто дома на кровати. И впервые не стыдно было глядеть на её оголённые ноги выше колен. А луна, казалось, сюда только и светила. Ведьма, а не луна! Осторожно примостился рядом с Кумаманькой, затем не удержался, легонько поцеловал в губы. Вдруг в памяти вся она вымельком обнажилась, как тогда, в корыте... Бешено забухала кровь, и руки рванулись к постижению...

— Не надо!.. Пусти!..

...Дома не успел оглядеться, как услышал от матери:

— Кумаманька даже больная. Узнала, что ты должен приехать, просила зайти.

— А что с ней?

— Ревматизма в три погибели скрутила, с ложки кормят... И в больнице лежала, да что толку.

Мать не дала-таки обвыкнуться после дороги, выпроводила к Пчёлкиным. Михаил Николаевич позвал с собой жену: она терапевт, такие болезни по её части.

С порога обдало крутым застоялым духом неухоженности. В исподней рубахе, обвисшей на костлявых плечах, на кровати понуро сидела согнутая старуха: от прежней рослости и половины не осталось. Бросилось в глаза: с головы свисал пожухлый клок растрёпанных волос с тряпочной полуразвязанной тесёмкой. А коса была — на зависть! Сердце полыхнуло острой жалостью: и это Кумаманька!.. Она, должно быть, почувствовала его смятение:

— Мишка, или испугался?.. Видишь, какая теперича. На работу была даже жадная, вот Бог и наказал. Помнишь, как сутками чертячили. Спать некогда, на ходу, бывало, прикорнёшь, и то бегом... Бурак тот-то — всё лето под пеклом. А уборка: слякоть не слякоть, мороз не мороз — до глубокого снега. Иной год поступала команда топорами вырубать из мёрзлой земли, дубасили, как шахтёры, но те хоть посменно, а бабам никакой смены не полагалось.

Вмешалась тётка Фрося:

— Манька, будя тебе про работу.

— Мам, а про что ишшо? Окромья работы я ить ничего не видала.

— Про работу ты мне талдонь, а они врачи, им про болезнь рассказывай.

— Чего рассказывать, и так видно. Вон пальцы горбылями в разные стороны. Руки, ноги скрючило — калеккой издалася.

Когда возвращались от Пчёлкиных, жена удручённо произнесла:

— Жалко женщину. Ты тоже, гляжу, переживаешь.

Михаил Николаевич терзался непонятным укором, словно был виноват, что Кумаманька заболела. Остерёгся сказать: у него могла быть совсем иная

семейная жизнь. Ничего не боялся: жена в разуме — обошлось бы без раздора. И всё же решил оставить тайну нетронутой, будто и впрямь жалко было лишиться того, что принадлежит только одному тебе.

С профессиональной дотошностью жена подытоживала:

— Болезнь развернулась полностью: по утрам скованность, нарастание боли, затем деформация пальцев, поражение локтевых, коленных суставов, позвоночника. Для ревматоидного артрита — классическая картина.

— Зря она отказалась от направления к вам в областную больницу, — сетовал Михаил Николаевич. — Подобрали бы лечение понадежней.

— Что здесь, что у нас — тот же аспирин. К тому же, в районной больнице проведено необходимое обследование. Было бы не ясно с диагнозом — другое дело. А так она права, что отказалась: лишние мучения... Господи, какое несчастье, когда ничем не можешь помочь! От чужих страданий душа места не находит.

Через два дня Михаил Николаевич снова побывал у Пчёлкиных. Девчушка-племянница шепотком передала, что Кумаманька просила его навеститься, чтоб приходил “без никого” и захватил трубку послушать. Племянница мала, но хитруха ещё та: затеяла увести жену на неблизкую от хутора поляну, где в травянистых лощинах на солнышке всегда полно земляники.

Кумаманька на этот раз поприбралась: причёсана в опрятную косу, замашная рубаха выстирана, и плечи вроде бы не такие никлые. И воздух в хате обычный, чистый. Ясно, тётка Фрося обиходила, самой же Кумаманьке ту же рубаху сменить — белый свет померкнет.

— Здравствуй, Миша, здравствуй... Спасибо, не отказался зайти. — Кумаманька внимательно его рассматривала: — А ты стал игрневый: седых волос больше, чем рыжих... Бери табуретку, садись поближе, это ж сколько годочков тебя не видала...

Мягкая улыбка на вздрагивающих губах оплывала стылое измученное лицо, и этому оживлению Кумаманька откровенно удивилась:

— Надо же, ты пришёл — и про болезнь забыла. Без спасу ни днём, ни ночью. От боли зубы стёрла. А тут занигунуло — надо же... Трубку, вижу, принёс. Послухай меня.

— Жена ведь тебя слушала, она в своём деле неплохо разбирается.

— Ты послухай... То, что говорила твоя жена, по правде сказать, я не упомянула. А врачей, может быть, больше не дождусь: больница не рядом, да и кому мы нужны.

Когда всё внимание было нацелено на прослушивание сердца, случился момент: глаза Михаила Николаевича и глаза Кумаманьки оказались так близко, так незащитно и так глубоко распахнуты, что взгляды их мгновенно проникли друг в друга, соединились и замерли в боязном наваждении. Словно издалека дошёл почти неузнаваемый голос:

— Ну, и что обнаружил? Улечимое, ай нет?

Михаил Николаевич заторможенно, нескоро смог отозваться:

— Сердце здоровое, не больное. Лёгкие тоже... Не в них дело...

— Сама то-то знаю. Не знаю только: сколько мне ещё?... По радиву одна бывшая комсомолка хвалилась, что свою жизнь хотела бы заново прожить. А я жизнью не повладела, доля выпала что мне, что матери: в смирной одежде с одним платком на две головы... Гагарин с Титовым слетали в космос... Лучше бы на те-то деньги для таких, как я, лекарства разработали, да было бы на что матери новую кухвайку кушать...

— Ох, да ну её, эту болезнь! Всё затмила. Я никогда звягливой не была, от боли вою сквозь зубы. Сейчас вот расквохталась. Ты-то как живёшь? С женой ладите?... Значит, двое детей. Это счастье: есть, кого любить... Жена твоя бабам понравилась: ухоженная, статная. На вашу свадьбу мы в окна любовались.

Тогда в осенней ночной темени на свет из хаты роились десятки любопытных. Судя по тому, что мать с закусками и графином то и дело отправлялась угощать хуторян, собралось их там немало. А мать ходила и ходила: пусть гуляют, чтобы свадьба была в память. В памяти и у Кумаманьки сохранилось:

— Как мы завидовали: вы были такие радостные, так много целовались... А меня единственный разочек поцеловали. Помнишь?.. Я, Миша, осталась нетронутой, девкой ухожу. Сдуру закричала, когда ты полез ко мне, а ты ведь всегда нежный был, переживчивый. Иной собственное горе горюет издали, а у тебя чужое — как своё.

Прежняя жизнь — далёкое марево, вспять не вернёшься. Там, в сущности, был другой человек, которого Михаил Николаевич признавал неохотно. Но жалость к Кумаманьке всё равно возвращала в безотчётное прошлое, и непонятно, отчего было неуютно, разлажено в душе. Заметив его удручённость, Кумаманька забеспокоилась:

— Спешить? Ну, ещё минутка...

И тут же Михаил Николаевич услышал, чего никак не ожидал услышать:

— Хорошо исделал, что на мне не жанился. Что б ты увидал?..

...Не выходя на дорогу, около хаты Пчёлкиных он достал из кармана Кумаманькин свадебный подарок. На носовом платке прыгающими буквами было вышито: “Мишки от Маньки”. Такие платки своим наречённым деревенские девушки дарили на долгую и верную любовь.

Где-то внутри, где у человека помещается всё самое важное, поселился прощальный голос:

— Миша, поцелуй меня... Как тогда...

3

Кто-то хлёстко изрёк: “К счастью, все мы смертны”. Такое лихо сказать в пустой белый свет. Когда коснётся тебя самого, философские измышления, скорее всего, обернутся недобрым напутствием в сырую землю. Как врач, Михаил Николаевич представить не мог ликующего состояния перед последним вздохом. Счастье — жить! А смерть — какое счастье? Если же полагать, что мы, человеки, гожи лишь в качестве навоза на земле, тогда не следует изобретать заоблачно высокие мысли. Вот он не знает, куда деться от поиска вины перед бедной женщиной. Значит, есть смысл определиться, во всём ли поступал, как подобает. Был ведь не травой. Жил среди людей и жил не ради смерти.

Кумаманька... Кумаманька... Сколько ни припоминал всё, что с ней было связано, не находил повода просить прощения. Думалось, было бы спокойнее, если бы она вовсе не знала ни о какой женитьбе. Но эта несчастная женитьба слетела же не с его языка? Он и сам сторонился огласки... Жалкий поцелуй и такой же жалкий порыв к сближению. Здесь-то какая вина? В том, что ли, что оказался на откровенном расстоянии, когда перед окончательным шагом оставалось только зажмуриться, но и тут он безгрешен. В конце концов, почему надо искать какую-то вину на голом месте? Пора заглушить память, отстраниться от посторонних раздумий... На днях четвёртая операция. Не последняя ли? Уж очень недобрые знаки.

В палате разрешили переночевать жене. Такое позволялось и раньше, правда, лишь для необходимого ухода. В этот раз — по больничным меркам — без достаточных на то оснований отступили от правила, скорее всего, из жалости к нему. А накануне пациента с соседней койки выписали на вспомогательное облучение. Без дальнейшей перспективы. Ушёл он молча, лишь пожал Михаилу Николаевичу руку, оставив в ладони леденеющий след. От опустевшей койки сквозило тягостной зябкостью... Может, и за ним скоро двери закроются, останется такое же остывшее место... Окажись в одиночестве, чёрные мысли давили бы неотвязно. На кушетке отдыхала жена, спала, не спала — не имело значения, — главное, привычная опора была рядом, и чувствовал он себя не так сиротливо. Жене выпало самое горькое, кроме кучи всяческих забот, — быть может, знать что-то такое, что пытаются от него скрыть.

Скрывают, несомненно. Случайно увидел, как из профессорского кабинета она вышла в слезах. Надо бы кинуться на помощь. Но чем поможешь? Решил не объявляться, незаметно удалился в палату. Нетрудно предполо-

жить, что ей могли сказать: “Готовьтесь к худшему”. Лучше бы находиться в неведении, а то, словно по уговору, начали осторожничать в словах. Каждый хранил свою часть тайны, друг от друга глаза прятали.

...Операция — завтра. На обходе профессор поинтересовался, живы ли родители. Когда услышал, что матери сто два года, не сдержался:

— Что ж ты такой гнилой?

Во время болезни острее всего воспринимается жалость: как напоминание о скором и непременном твоём окончании. Если уж что-то знаешь, куда милосерднее было бы промолчать, но здоровый худого не разумеет. Здоровою невдомёк каждое слово, всякий припрятанный взгляд не ускользает от истрадавшейся оголённой души. Иногда так хочется послать подальше каждого, кто вольно или невольно затевает над тобой преждевременную панихиду. Вот и во время врачебного обхода не устоял, решил хоть чем-нибудь разбавить мрачный настрой, рассказал байку:

— В лесу вдруг объявилась пещера. Медведь увидел и думает: “Что́ бы это значило?” Заходит. А там огромный циклоп спрашивает жутким голосом: “Кто?” — “Медведь”, — отвечает медведь. “Записываю: медведь. Сегодня приходи в семнадцать ноль-ноль. Съем тебя. Вопросы есть?”... Какие уж тут вопросы? Медведь опустил голову и понуро поплёлся вон. Волк и лиса тоже побывали у циклопа. Само собою, зайцу стало интересно, что же это произошло: из пещеры звери выбредали на зверей не похожие. Никогда не было, чтобы грозные властители всего живого выглядели такими обессилёнными и жалкими, хуже мокрой курицы. Недолго думая, заяц и сам отправился в пещеру. “Кто?” — раздался неслышанно жуткий голос. У зайца от страха уши поникли. “Заяц я”, — доверился он. “Записываю: заяц. В девять ноль-ноль придёшь завтра. Съем тебя. Вопросы есть?” — “Есть. А можно не приходиться?” — “Можно. Вычёркиваю”.

— Нам бы такого зайца, — сухо одобрил профессор.

Никто из докторов не вымучил и полуулыбки, следом за профессором они так поспешили к двери, словно в палате нечем было дышать. Думай, что хочешь. Могло стать: байка глупая. Или, что вероятнее, заячья фортуна — не про завтрашний день. Кого и с чем отправляют на операционной стол, обсуждается на врачебной пятиминутке, а на обходе решаются лишь формальности. Так что его шансы уже определены, и коллег рассказами не развеселишь.

...Жена отсутствовала до вечера. Полагал, что задержалась у московских родственников, а она ходила в церковь и отстояла многочасовую очередь к могиле какой-то святой Матроны. “Это же надо — ухандокачь день!” — поразился Михаил Николаевич. Он был закоренелый материалист, и всё же подставил голову, чтобы надеть на шею белую шёлковую ниточку с серебряным крестиком, жалеючи измученную жену, согласился на неблагоприятное отступление. К засушенным цветам с могилы святой Матроны тоже не проникся. Завтра санитарка явится убирать палату, смахнёт их с тумбочки в мусорное ведро — и все дела.

На манер матери жена перекрестила его:

— Всё будет хорошо.

В её глазах растворилось сумрачное больничное горе, сквозь слёзы проглянул обычный радостный свет.

И он поддался порыву жены: в груди попросторнело, словно вытолкнули какую-то затычку, дали доступ живому воздуху. Спокойно думалось: “Авось обойдётся”. Весь вечер колыхало почти детское непредвиденное возбуждение, мечталось о возвращении домой, о желанной рыбалке при любой погоде. И Кумаманька вроде бы не преследовала с прежней настойчивостью. Возможно, он выдумал вину перед нею, не исключено. Случалось, он вредничал с сёстрами, обманывал мать, скрывал те или другие проказы. Да и всегда ли был прав? Жизнь особо не миловала: не обходилось и без взаимных нечутких ответов. Что негоднее натворил в тот или иной раз, почти тут же

бывало очевидно. А Кумаманька... Где то́ плохое, что он ей сделал? Жалко, конечно, женщина жизнь прожила наречённой невестой, так и не изведав любви. Вдобавок заболела. Сегодня к её болезни нашли бы подход: есть действенные лекарства, не в пример аспирина.

Перед предыдущими операциями в душе бродил сырой бесконечный холод обречённости. Потом, после операций, всё одно оставалась въедливая липкая потерянная, давило мрачное бремя. А в этот раз происходило нечто непонятное. С охотой замышлялись далёкие планы. И странно: не возникало сомнения, что планы могут не сбыться, ведь до сих пор справиться с болезнью так и не удалось. Но он легко верил, что всё будет хорошо, а остальное старался близко не подпускать. Вот только Кумаманька... Вынуть бы эту занозу. Очиститься. Понять бы, за что каяться, без того, возможно, завтрашний день не состоится. Ах, как жалко, что не получается спокойно отбыть последние минутки перед операцией. Вот уже и каталку подали.

— Больной, раздевайтесь, ложитесь, — командует медсестра.

По мере того, как снимаешь одежду, обнажаешься, когда сам ещё на твёрдых ногах, но ложишься, чтобы тебя везли, начинаешь понимать, что ты уже не в этой жизни, тобой распоряжаются уже другие люди. И как это им удастся, ты можешь и не узнать.

— Зубные протезы выньте и крестик снимите, — диктует медсестра.

Зубы у Михаила Николаевича были свои. А крестик... Разумеется, он понимал, на теле не должно быть ничего лишнего, что в непредвиденных случаях способно помешать врачевным манипуляциям. И всё же... Остаться без оберега — вдруг лишишься обречённой, хотя и иллюзорной, но благосклонной защиты, которую он начал ощущать.

Из рук в руки передал жене крестик и напутствовал:

— Цветочки сохрани, спрячь подальше.

...Вводный наркоз, прежде всего, расслабляет мышцы, не то что ногой или рукой пошевелить, язык с места не стронуть. Какое-то время не угасшим остаётся восприятие окружающих звуков. А врачи полагают, что произошло полное отключение, и у твоего изголовья говорят о чём угодно без опаски. Вот и сейчас он хорошо слышал, как анестезиолог любезничал с медсестрой.

— Во сне часто вас вижу.

— На ночь не пейте кофе. Сон будет глубокий.

— Не помогает. Кстати, нынешней ночью потрясающе переспал с вами.

— С женой надо спать...

Анестезиолог продолжал свои соблазнения. А Михаил Николаевич уплывающим сознанием наконец-то понял: Кумаманьку он соблазнял несостоявшейся женитьбой, неожиданным порывом к близости...

И на краю провальной темноты успел-таки вымолвить душой:

— Виноват... Прости...

...На “Соколе” жена вдруг повела его к выходу в другую сторону. Он недоумевал: оттуда к московским родственникам ехать придётся с пересадками. Пересадки так пересадки, какая разница, когда готов птицей лететь от неостывших слов профессора. Родился под счастливой звездой. Считаю жизнь подарком. На прощанье профессор по-свойски проникновенно даже обнял его.

— Зайдём, молебен закажу, — жена увлекла его в невзрачную калитку. — Благодарственный.

И только тут Михаил Николаевич разглядел приземистый старинный храм, от взора прохожих скрытый громоздкими строениями.

— Церковь названа в честь Всех Святых, — уже внутри храма просвещала жена. — А вон у той иконы, — поклонившись, показала на образ у правой стены, — я тебя вымаливала.